

ГЛАВА I. Народ, который осудил свои учреждения

Если есть стремление, в котором более всего обвиняется в настоящее время наша жалкая страна, то это без сомнения возвращение к доктринальному образу правления, или, выражаясь языком менее неблагозвучным, — к конституционной монархии. Франция и при Бурбонах, и при Орлеанах, и при Бонапартах, не делая никакого особенного предпочтения ни одной из этих династий, стремится организовать себя согласно идеям и нравам 1830 года.

Такой поворот к системе уже исчерпанной, сам по себе представляет аномалию и не достоин нации созревшей, здравомыслящей и обладающей собою. Нам необходимо подтвердить это фактами, тем более что подобное ретроградное движение, за которое Франция заслуживает упрека — не первое.

Вспомним, что плебисцитом 1851 года Людовик Наполеон провозглашен был президентом республики на 10 лет, с предоставлением ему права выработать конституцию на началах 1779 года, и что год спустя в лице того же Людовика Наполеона восстановлена императорская власть с сенатус-консультумом, имевшим целью сблизить конституцию 1852 г. с конституцией 1804 г. или, по крайней мере, согласовать ее с духом последней. Судя поэтому, можно было, и даже следовало, ожидать — если наполеоновские реформы удержатся — близкого и окончательного превращения французской демократии в цезаризм или, лучше сказать, осуществления великой идеи Наполеона I — создать третью империю, на западе. Если допустить гипотезу прогресса путем реставраций и ретроградных движений, то такой результат нельзя не признать естественным и я, признаюсь, вполне его предугадывал.

Однако вопреки всем соображениям, которыми по-видимому объясняется подобное превращение, аналогии между первой и второй империями не оказывается и даже можно сказать, что не взирая на тождество имени, титула и до известной степени самой формы, эти две системы не могут быть рассматриваемы как продолжение одна другой; их судьбы не связаны между собой; между ними нет даже сродства; это копия или подделка. Инициатива Наполеона III доказала это вполне. В то время, когда менее всего можно было ожидать, 24 ноября 1860 г. декрет его величества возвестил стране поразительное решение императора, в котором он вместо того, чтобы за одержанные им победы в Крыму и Ломбардии потребовать увеличения власти, казалось, заботился о том, чтобы сложить с себя долю её бремени; казалось, трудная задача власти и сопряженная с нею ответственность слишком тяготили его; он приглашал народных представителей разделить с ним эту власть и призывал их к контролю, возвращал свободу слова и открывал трибуну; одним словом, он признавал, что условия правления в 1860 г. не представлялись уже такими, какими они были в 1804 году, и что система брюмера в приложении к декабрю уже более не

действовала; это значило, что перед нами совершается историческая последовательность и факты не повторяются вполне.

Все это не было, конечно, объявлено официально и в таких ясных словах, которые употребляю я. Выражения, употребляемые властью, редко объясняют истинный смысл её действий; чаще она и сама не вполне сознает их значение. Но кто умеет понимать, тому достаточно одного намека; известно, что в политике даром слова пользуются часто только как средством скрыть истинные намерения; дайте мне только текст закона, а я сам уже выведу сущность его мотивов. Император Наполеон, чувствуя себя обиженным частым повторением доходившего до него ропота, что Франция умерла для политической жизни, что сенат сделался сборищем немых, что законодательный корпус, не представляя мысли страны, не был провозвестником истины и т. п., как будто хотел доказать положительным актом, что, говоря риторически, вопрос жизни и смерти для Франции зависит от него, и что если он имеет власть убивать, то может и воскрешать. Но эту благотворную мысль нового декрета приписывали исключительно высокому уму, великодушию и либеральному направлению государя.

Дело в том, что условия развития, в которых нашел Францию основатель второй империи, далеко не были таковы, как в 1799 и 1804 годах; это ясно для всех. Напротив, с 1814 года политический и социальный организм Франции совершенно изменился и Наполеоновская идея, которая должна была обновить все, оказалась бессильною и развращенною во всех отношениях. Лишь социалистический террор едва напомнил собою прежнее время; все чувствовали себя накануне общего переворота и старались найти пример в прошедшем.

«Властителя! Властителя!» кричали все в один голос, и герой 2-го декабря, подобно тому, как было во время брюмера, явился спасителем страны. Но едва рассеялся этот нелепый ужас, как увидели, что ничего нет угрожающего и нового, и Наполеон III, поставленный в положение лучшего наблюдателя, должен был первый познать действительный порядок вещей, что он и сделал, издав, помимо всякого ожидания, декрет 24 ноября.

Таким образом, нужно было девять лет, чтобы убедиться, что 1848 год не передвинул оси цивилизации и что пятились совершенно напрасно.

Как бы то ни было, но декрет 24 ноября сделался для нации, так странно одурачившейся, как-бы сигналом пробуждения; по несчастью, в 1848 году, умы всех были до такой степени предупреждены, что сначала не поняли даже, в чем дело, и в то время как страна в сущности только желала подвигаться вперед, влияние традиций заставило ее свернуть с большой дороги. С одной стороны не хотели республиканской конституции, потому что государственный переворот был против республики, с другой стороны декретом 24 ноября рушилась конституция 1852 года. К этому следует прибавить, что для будущих действий не было никакой программы; затем понятно, каким образом страна, почти сама того не желая, вернулась к 1830 году. Странно, что конституционная монархия, одинаково ненавистная и республиканцам, и империалистам, случайным образом снова делалась объектом политики нации, заступив место республики, которая была уничтожена насильственно, и монархии, которая сама подняла на себя руку. Но того ли хотел творец закона 24 ноября? Без сомнения, нет: намерение его было — ослабив немного поводья, переменить лишь аллюр, но

ни в чем не изменять хода самой колесницы. Наполеон III, сделав свою осторожную уступку необходимости и обстоятельствам, хотел ввести свою конституцию в её духе и букве, но применяя ее, он допускал кое-что изменять. Императорская идея, по всей вероятности, не заходила далее этих изменений, но и в этом обнаружилась очевидная для всех ошибка.

С системой нельзя поступать произвольно, даже её творцу; ничто не имеет такой непреклонности, непоколебимости и цельности, как система. Человек, в силу своей свободной воли, может говорить и отказываться от своих слов; может видоизменять свои слова, мысли, волю и действия до бесконечности; жизнь его есть цепь постоянных столкновений и соглашений с себе подобными и природой. Напротив того, идея, теория, система, учреждение, договор и все, что из сферы идеи или логики перешло в состояние формы и выражения, становится вещью определенной, законченной, вещью ненарушимой, не обладающей податливостью и гибкостью, вещью, которую нельзя ни в чем заменить другой, которая, оставаясь сама собою, никогда не делается чем-либо другим.

Конституция, например, должна быть или всецело уважаема, или всецело отвергаема: середины здесь нет. Можно, правда, из двух противоположных конституций выкроить сколько угодно средних; но каждая из таких средних конституций будет творением новым, отличительным и исключительным, в котором было бы нелепо стараться совместить непримиримые между собою начала, каковы принцип парламентарный и императорская прерогатива. Воображать, что можно по произволу вводить в известную политическую систему различные изменения и что в этом именно заключается прогресс, значит идти по ложной дороге; это значит выйти из пределов права и знания и броситься в произвол.

И так, я говорю, что конституция 1852 года совершенно различна от конституции 1830 года, что они не согласимы между собою и что плодом декрета 24 ноября, предоставившего законодательному корпусу и сенату некоторые из прав, которые обеспечены были за ними хартией 1830 года и затем отняты конституцией 1852 года, было то, что в стране поднялась болтовня, исполненная обманчивых надежд — во всем, что касалось империализма, и самых ретроградных стремлений — на случай перемены во власти.

Теперь страна находится в движении и никакое давление не в силах ее сдержать; чем более стараются сдерживать ее сверху, с помощью ли сената, или законодательного большинства, с помощью ли журналистики и даже речей самого императора, тем более она рвется к цели своих страстных стремлений, которые делаются еще яростнее вследствие того, что имеют обаяние антагонизма между правительством и народом. Мы видим уже, что идея, которую считали умершей, напротив и пользуется успехом, и не имеет недостатка в аргументах; власть, свернув с дороги, своей недалекостью, своей рутинной делала все, чтобы воскресить эту идею.

Посмотрите, что происходит вокруг нас, послушайте, что говорится. Не найдем ли мы доказательств того, что нация ныне очутилась лицом к лицу перед конституцией 1814 года? Все сознают, что ныне уже невозможно довести реставрации бонапартизма до его последнего вывода, т. е. до конституции чисто автократической, какова конституция 1804 года; не менее очевидна также противоположность военного порядка с обществом промышленным и буржуазным; около себя мы видим прогресс свободы или лучше сказать —

европейскую федерацию, как противоположность развития империализма; перед вами разность систем различных стран, которые, постоянно сталкиваясь друг с другом, призваны следовать по одному пути; мы постоянно имеем перед глазами невыносимое для нас сравнение личного правительства, утвердившегося во Франции, с правительством парламентарным, принятым в большей части европейских государств; наша невежественная демократия не способна провести идею и составить персонал республики; мы оказываем самое благосклонное расположение к лицам, которые так долго и так блистательно служили прежней системе и которые сомкнулись под девизом *легальной оппозиции*, привлечим к себе даже некоторых избранных, которые еще недавно выказывали себя представителями республиканской идеи; наши старые и новые парламентаристы без отвращения приносят присягу — этот династический символ, и как будто говорят императору: «будьте нашими руками, а наши сердца принадлежат вам»; избирательные массы внезапно соединились под либеральным знаменем Жирардена, Гавена и Геру — друзей империи; в циркулярах Пелльтана появился буржуазный девиз: «свобода, общественный порядок»; наша трибуна находится в вынужденной и многозначущей сделке с правительством; Тьер произносит необыкновенно эффектные речи и делается героем настоящей минуты, героем, за которым потянулось бы большинство законодательного корпуса, если-бы это было возможно, подобно тому, как это делает волея-неволей меньшинство. И много бы можно было привести таких симптомов; но выставлять их было бы утомительно. Все это в совокупности не доказывает ли того, что система 1814 года, исправленная в 1830 году, не смотря на всеобщую подачу голосов, изменившую все условия правительства, сделалась фантастическим объективом политики нации?

И в правительственной сфере обнаруживается то же стремление. Нет сомнения, что конституция 1852 года имеет своих энергических сторонников; есть даже такие, которые не хотели бы декрета 24 ноября. Но эта крайняя приверженность обнаруживается только в самых горячих друзьях, золотая же середина сносит его; и если трудно утверждать, что сам глава государства решился примкнуть к этой золотой середине, то нельзя однако сказать, чтобы он и отрицал ее. Но положительно верно лишь то, что приверженцы разделились на два лагеря: характер прений в сенате и в законодательном корпусе; уступчивость, с которою правительственные ораторы относятся к оппозиции; этот взаимный обмен любезностей; предупредительность; уверенность в том, что все старые партии превратятся в одну громадную бонапартистскую партию, как скоро власти угодно будет внять голосу их мольбы, и вообще все, что происходит в высших сферах правительства и в самых глубоких залежах населения, — все ясно показывает, что февральская Франция, сделавшись охотно Францией 2 декабря, — от чистого сердца готова восстановить июльскую Францию.

Таким образом мы в одно и то же время отрекаемся и осуждаем: во первых все, что составляет наполеоновскую идею, в пользу которой в 1848 г. мы подали 5.600,000 голосов, в 1851 — 7.500,000 и в 1852 — 7.824,189, и которую мы ныне оставляем; и во вторых конституционную монархию, низвергнутую и обесчещенную в 1848 году, и восстановления которой мы теперь желаем. Я ничего не говорю о республике, которую мы также прежде приветствовали, потом отвергли, в промежуток между конституционной монархией и второй империей, и одно имя которой возбудило бы только воспоминание о нашей низости и изменах. Когда я думаю о республике, мною овладевает отвращение к моей стране, и я стыжусь быть французом; поэтому предпочитаю молчать.

Когда в 1848 году так-называемыми республиканцами, управлявшими тогда делами, был издан декрет, которым династии Бонапартов разрешалось возвращение во Францию, а династии Бурбонов и Орлеанов изгонялись, когда затем Людовик Наполеон был выбран президентом республики при дружных рукоплесканиях консерваторов, демократов, буржуазии, духовенства и войска, — страна и власть понимали всю важность этого акта и очень хорошо знали что значит имя Бонапарта и каков был Людовик Наполеон; все тогда предвидели повторение брюмера, а за ним новую конституцию 8-го года — прелюдию к новой империи. Действительно в 1851 и 1852 годах все сомкнулось вокруг нового императора, и восстановление учреждений империи было принято. Отвергать это безрассудно. Но мог ли кто-нибудь во Франции верить тому, что положение дел останется таковым, каково оно было, и после декрета 24 ноября, после выборов 1863 года и последних прений законодательного корпуса, в виду усиленного движения умов? Нет! Следовательно Франция осудила 2-е декабря, если не относительно личности, то относительно системы. В 1852 — общее голосование дало в пользу империи 7.824,189 утвердительных голосов против 253,145 отрицательных. В 1863 году те же избиратели дали в пользу правительственной кандидатуры не более 5 миллионов голосов, а в пользу оппозиции 2 миллиона. Таким образом Франция произнесла свое осуждение. В 1852 году все смеялись над свободой и либерализмом, как над вольнодумством, теперь же высшие должностные лица империи говорят о свободе, подобно Тьеру, Гавену и Жирардену. Это также есть осуждение.

Не было ли однако императорское правительство виновно перед общественным доверием, причинив своею политикою такой поворот в общественном мнении? Ниже мы будем анализировать это правительство и рассмотрим главнейшие из его действий; мы сравним его с июльским правительством и докажем, что если эти два правительства мало схожи между собою, тем не менее одно другого стоит. И это в своем роде осуждение!

Обратимся к июльскому правительству. Разве оно не упало в грязь? Разве страна не питала отвращения ко всем парламентским турнирам, к министерским интригам, к шуму оппозиции, системе выборов, точно также как и к самому Людовику Филиппу и Гизо? Разве разврат и корыстолюбие были тогда чужды высших правительственных сфер. Национальное негодование, конечно, не довело бы 21 Февраля дело до республики. Французский народ, недовольный существующим правлением, вовсе не думал, как это обыкновенно бывало, о замене его новым, и еще накануне катастрофы нисколько не мечтал о республике; но как скоро республика была провозглашена, несмотря на то, что внушала мало доверия, все единодушно признавали, что случившееся было только справедливостью по отношению к падшей системе.

Однако, нас быстрыми шагами снова приводят к системе камарильи, интриг, лести, разврата и трусости. Но что я говорю — приводят: мы уже до половины погрязли в ней; после того, что произошло со времени открытия палат, нельзя сказать, чтобы страна управлялась только одною конституцией 1852 года; легитимисты, орлеанисты, демократы, бонапартисты, оппозиция и большинство, сенат и законодательный корпус, высшие

должностные лица, принцы крови, журналистика официозная и независимая, все совались принять участие в управлении. Если бы пустить на всеобщее голосование вопрос об учреждении конституционной империи, только бы администрация предоставила этим выборам некоторую свободу, в пользу реформы собралось бы 18 миллионов голосов. Это также было бы осуждением. В 1848 году Гизо пал; в 1864 полное торжество того же Гизо и торжество тем более знаменательное, что оно послужило бы в пользу династии, призванной в 1848 и в 1852 годах, как выражение противоположной системы. И это также разве не осуждение? На какой же из двух идей остановимся мы? На идее 1799 или 1830 года? И если, верные нашему прежнему взгляду, мы не хотим ни той, ни другой, какой принцип думаем мы принять, что будет вашим *profession de foi*?

Но к чему осыпать насмешками самообольщенный, ослепленный собою народ, который никогда не отличался ни рассудительностью, ни способностью раскаяния. В нашей истории последних 15-ти лет, конечно, много такого, что могло бы заставить нас быть скромными.

Гений французского народа и достоинство нации помрачились. Не будем же хвастаться тем, что мы руководим движением и стоим в главе цивилизации. Мы пали в нашей революционной задаче, мы вырождаемся 89 года: в Европе есть великие державы, — но нет более великой нации...

Однако, не будем ничего преувеличивать! Один народ не в силах сделать то, что требует усилий всего человечества. Мы не можем спастись без помощи, точно также как и другие не спасутся без нас. Эта бесплодная агитация, эти унижительные отступления, это печальное падение суть также симптомы всемирного разложения. Но не будем еще отчаиваться, не будем вдаваться в мизантропию, которая также есть ничто иное, как своего рода гордость и тщеславие. Мы воображали, что конституции импровизируются, и наша надменность была жестоко наказана. Сознаемся в нашей ошибке, — и если мы хотим, чтобы сознание этой ошибки послужило нам в пользу, обдумаем ее как урок судьбы, или как совершившийся прогресс.

Я показал вам, читатель, что такое народ, который осуждает свои учреждения; теперь я покажу вам, что случается, когда, закоснелый и преисполненный ложных воззрений, он отказывается от подобного суда.

Версия #2

Зверобой создал 15 марта 2025 04:43:49

Зверобой обновил 27 июня 2025 01:25:32